



Александр Суконик

Достоевский и его парадоксы



Александр Юльевич Суконик

Достоевский и его парадоксы

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24402154

*Достоевский и его парадоксы / Суконик А. – М.: Языки славянской культуры, 2015. : Языки славянской культуры; Москва; 2015
ISBN 978-5-94457-207-3*

Аннотация

Книга посвящена анализу поэтики Достоевского в свете разорванности мироощущения писателя между европейским и русским (византийским) способами культурного мышления. Анализируя три произведения великого писателя: «Записки из мертвого дома», «Записки из подполья» и «Преступление и наказание», автор показывает, как Достоевский преодолевает эту разорванность, основывая свой художественный метод на высшей форме иронии – парадоксе. Одновременно, в более широком плане, автор обращает внимание на то, как Достоевский художественно осмысливает конфликт между рациональным («научным», «философским») и художественным («литературным») способами мышления и как отдает в контексте российского культурного универса безусловное предпочтение последнему.

Содержание

Предварение	4
Глава 1	18
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Александр Суконик

Достоевски и его парадоксы

*Книга посвящается Папе Римскому, который
говорит, что Пастух должен пахнуть Овцой*

Предварение

Достоевский, когда хотел этого и даже когда не хотел тем более, мыслил парадоксами. Поэтому, читая все, что я пишу ниже, прошу не упускать из виду данное утверждение, то есть воспринимать все под углом такого рода иронии, которую американцы называют «язык за щекой».

Манера, в которой я пишу эту книгу, относится к жанру эссе. У нас под термином эссе понимается что-то эдакое, с вольным художественным выкрутасом, но не слишком основательное с научной точки зрения. У нас в России жанр эссе, кажется, не слишком котируется, потому что – эка невидаль писать художественно и с выкрутасом – этим нас не удивишь – а вот вы попробуйте, как западные люди, по-научному! Чтобы «с научной точки зрения», так сказать, пользуясь, так сказать, интеллектуальным способом мышления! Вот вы

попробуйте писать, как западные люди сплошь да рядом пишут, *честно* отделяя ум от чувств... да что «писать»: вы попробуйте так *жить*, как они живут!

Так я взываю... к кому же? Не к своим ли бышим компатриотам, от которых, между прочим, отделился еще сорок лет назад, решив, что мне нет другого пути, как эмигрировать из Советского Союза? Так я начинаю *поучать* их и одновременно странным образом начинаю ощущать, будто исполняю роль, заведомо написанную для меня не кем иным, как Федором Михайловичем Достоевским.

Но я протестую против такой роли! Должен ли я признать, что после всего Достоевский написал наперед роль на многие годы не только для всей России, но и для меня лично?

Вот почему я завел речь о жанре эссе. Этот жанр изобрел француз Монтень, и я хотел при помощи Монтеня воткнуть своим бывшим компатриотам, что, друзья, неважно, как садиться, лишь бы быть музыкантами. Неважно, в каком жанре писать, важно – если действительно желаешь приблизиться к истине – уметь это самое, ну да, отделять мысль от чувств. Как, например, тот же Монтень отделял, когда писал свое эссе «О каннибалах», издеваясь над предрассудками собственной культуры и указывая, что европейцы, быть может, большие каннибалы, чем те странные люди, которых они находят на вновь открытых землях. Мог бы он так писать, если бы в этот момент не прощался со всем родным и теплым, как прощался Отелло со своими кораблями, то

есть, если бы не был европейцем, унаследовавшим от древнегреческой философии странную способность отрешаться во имя абстрактной истины от коллегияльности теплых нации или каких других групповых чувств?

Вот в какого рода путь я желаю пуститься, прекрасно зная, что Достоевский предостерегал русского человека от подобного рода способа мышления. Согласно Достоевскому Монтень был европейский «дурак-романтик», а у нас есть место только для романтиков умных. В «Записках из подполья» и «Преступлении и наказании» Достоевский предупреждал, к каким комико-трагическим последствиям может привести русского человека желание быть «дураком-романтиком», и советовал тем немногим, кто упрямится существовать в таком качестве, еще в молодости переселиться куда-нибудь в Веймар или Шварцвальд, чтобы сохранить в себе эту «ювелирскую вещицу».

Я ёрничаю, но ёрничаю с грустью. Мое переселение в мои Веймар и Шварцвальд произошло совершенно иначе, и мне по моим советским ограниченности и невежеству потребовалось много-много лет, чтобы сообразить глубину парадокса Достоевского насчет двух типов романтиков и пессимистическую безидеальность его издевательства над романтиком, который дурак. В момент, когда я записываю эти слова, мне восемьдесят два года и я наблюдаю из Нью-Йорка, как Америка вместе с Европой, действуя, как дураки-романтики, пытаются окончательно придавить Россию, загнать ее по

возможности куда-нибудь за уральский хребет, пусть поды-
хает там, как сказочный огнедышащий дракон, который от
бессильной ярости свернулся клубком и принялся выедать
собственные внутренности. И все это делается под знаком
идеала, под знаком большой идеи (в данном случае идеи де-
мократии), той большой идеи, которую Достоевский ставил
превыше всего и указывал, как первую необходимость для
существования истинно великих наций. Я даже понимаю их
рационал, то есть, запустив вперед чувств разум, киваю го-
ловой на их по-своему (по ихнему) правоту, но тут же колле-
гиальные русские чувства вступают в свои права, и я (как тот
же дракон) бессильно взъяриваюсь и бормочу проклятия.

Достоевский был не всемирный писатель, а чисто и огра-
ниченно русский. Но, как дядька Черномор-от-литературы,
он заколдовал мир в иллюзорность своей всемирности, и с
этим ничего не поделаешь. Конечно, в числе страстей Досто-
евского была страсть «спасти Европу», но эта страсть спа-
сти Европу с помощью православия была даже более неле-
па, чем страсть Европы «спасти» Россию с помощью демо-
кратии. Однако, как писатель Достоевский не имел никаких
иллюзий, никаких претензий на мировое представительство,
потому что, как никто другой, понимал, насколько Россия
это не Европа и насколько проблемы его героев не представ-
ляют собой «общечеловеческие» проблемы – и он только по-
смеялся бы тому, как будущие европейские философы и пи-
сатели, совершенно неверно поняв его, станут писать «под

влиянием Достоевского».

В чем состоит особенность творчества Достоевского, которая на самом деле исключает его из сонма писателей европейской традиции? Попытаюсь показать ее, идя от обратного. В свое время Ницше первым объявил ценности христианской цивилизации (сострадание к слабому, осуждение силы и проч.) извращенными, потому что человеку естественно почитать не слабость, а силу, не нытье, а силу характера, не эгалитарность, но аристократизм духа; тогда же он противопоставил чувствам справедливости и сострадания к нижестоящим как движущим человеком силам идею, что человеком движет «воля к власти». Европейская романтическая литература и раньше обращала внимание на эту проблему, например, в повести Стивенсона «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда»; в литературе двадцатого века укажу на Жана Жене, который пьесу «Служанки» пишет так, будто в него вселился сердобольный доктор Джекилл, а роман «Богоматерь цветов» пишет так, будто в него вселился романтизирующий голую силу мистер Хайд. Не говоря об этих и других подобных произведениях по существу, выделю одну их обязательную черту: мировоззренческие точки зрения в них локализованы – либо автор (или его герои) исповедуют христианские этические ценности, либо, наоборот, почитают систему ценностей воли к власти. Иными словами мировоззренческие точки зрения полностью осознаются – как в положительном, так и в отрицательном смыслах.

Не то Достоевский. Уникальность его эстетики в том, что в ней борются обе системы ценностей, христианская, которая страдает слабости, и дохристианская, паганская, которая во главу угла ставит силу. Но не это главное, а то, *что Достоевский эту борьбу не может осмыслить художественно*, подвести под нее общий художественный знаменатель, осознать взглядом со стороны. Достоевский в этом смысле, как хтонический человек, которого раскопал и проанализировал Леви-Стросс в своей работе о мифах. Хтонический человек в мифологии всегда хром, потому что в его образе коллективная память сохранила ментальность далеких людей, которые еще полагали, что человека родит не женщина, а земля (и ногу ему приходится отрывать от нее, как отрывают пуповину). Леви-Стросс рассказывает о хромом Эдипе, который, несмотря на всю остроту своего ума, не умеет узнать своих мать и отца, потому что он не уверен, как родятся дети. Вот так и Достоевский: он умен, как Эдип, фантастически умен, умней всех в России, а все-таки разрешить проблему столкновения двух противоположных систем ценностей – проблему, которая, как стеклышко, ясна в ментальности европейской культуры – он не может.

Как представитель дворянского класса в России Достоевский был целиком образован европейской культурой, все его литературные идеалы пришли с Запада, почерпнутые из европейской философии и литературы. Так сформировался его характер мышления, который называют экзистенци-

альным: характер мышления с упором на индивидуальность, осознающую свое место в конкретности своего момента времени и ориентированную на произнесение «я – есть!». Русское православие тут ему ничего не могло дать, потому что к идее индивидуального выбора оно не имело никакого отношения.

Но в Достоевском еще таился другой характер мышления, который не был ниоткуда «почерпнут», который сидел внутри него самого, но который расцвел в нем мощным цветком в результате каторги. Попав на каторгу и столкнувшись с обществом уголовников, он увидел, что, оказывается, это общество живет в совершенно иной системе оценочных духовных координат, основанной на поклонении силе. Весьма возможно, Достоевский догадывался и раньше, что такая система на самом деле (а не согласно выученным христианским идеалам) руководит человеком, но только каторга воочию, во внешнем, окружающем его человеческом мире, а не внутренних фантазиях, представила ему объективное доказательство верности его догадок. Разумеется, если бы на месте Достоевского были Лев Толстой или Чехов, Виктор Гюго или Диккенс, каторга не смогла бы подействовать на них так, как она – по свидетельству «Записок из мертвого дома» – подействовала на Достоевского. Какой смысл пытаться анализировать психику Достоевского с ее экстемальными колебаниями, с ее склонностью к непрерывной рефлексии, неуверенности в себе, с ее разнообразными, вплоть до психиче-

ских отклонений, слабостями для того, чтобы понять, почему на Достоевского произвел такое «некритическое» (с христианской точки зрения) впечатление прямой и цельный человек силы и почему, как следствие, он стал создателем такого странного, еще невиданного антигероя, в котором борются два упомянутых мировоззрения, выступающие под разными масками, то ли рационализма и иррационализма, то ли разума и чувств, то ли атеизма и религиозности. Борются и приводят его к падению, краху, и все без того, чтобы он был способен, в противоположность антигерою европейской традиции – Макбету или Яго или Эдгару или мистеру Хайду – осознать до конца и гордо (*цельно*) заключиться в мировоззрении, которое им движет.

Нецельность антигероя Достоевского это то, что так привлекло к нему европейского читателя, это то, чему пытались подражать европейские философы и писатели, полагая, что нашли в нецельности героя Достоевского завидное богатство природы (многое заключенное в одном). Это была иллюзия, сродни той, как если бы они нашли завидное богатство в неумении мудрого, но хромого Эдипа распознавать отца и мать (между тем уже древнегреческая мифология не видела в такой нецельности Эдипа ничего, кроме пройденного этапа состояния менталитета первобытного человека). То же самое и здесь: европейский человек в процессе эволюции христианской цивилизации настолько удалился от менталитета антигероя Достоевского, что совершенно не способен был

схватить его суть, и, полагая, что пишет и создает в кино различных аморалистов и имморалистов под влиянием русского писателя, не замечал, что антигерой Достоевского это аморалист и одновременно экстремальный моралист, это атеист, одновременно человек, употребляющий язык религиозной риторики.

Но, разумеется, у прозы Достоевского есть еще одно замечательное качество, которое вытекает из неспособности писателя найти художественный общий знаменатель владеющим им двум таким противоположным мировоззрениям. В то время, как европейская традиция в течение своей двухтысячелетней эволюции научилась ставить вопрос о двух этих мировоззрениях напрямую и всерьез, локализуя и осмысливая их в их собственных объективных качествах, Достоевский находит *свой* общий знаменатель в ироническом признании невозможности разрешения *своей* раздвоенной проблемы. Тут-то и возникает то качество творчества писателя, которое действительно делает его «всемирным»: ирония Достоевского это ирония высшего качества, это ирония парадокса, а парадокс всегда умеет обнаружить и выставить на всеобщее обозрение вещи, которые подходом напрямую и всерьез обнаружить невозможно.

Возьмем упомянутый выше парадокс с умным и глупым романтиками в «Записках из подполья». Достоевский издевается над западным дураком-романтиком, который глуп в

своём абстрактном идеализме, не желающем обращать внимание на конкретную реальность жизни. Но он издевается и над умным русским романтиком, ум которого состоит в том, что он не верит в идеалы. Западный романтик дурак и, как следствие, *он относится к себе и своему идеалу серьезно*. Однако (добавлю от себя) в этой серьезности есть залог того, что его идеал в конечном счете хоть как-то восторжествует в той самой конкретной реальности жизни, произойдет эволюция, в процесс которой исторически осуществляется западная цивилизация. Русский романтик умеет казаться искренним в выражении преданности идеалам, но таким образом, чтобы одновременно пополнялись его карманы. Вследствие чего, однако, он не может относиться к себе серьезно, и потому эволюция тут может осуществляться только на уровне потемкинских деревень. Так начинается парадокс – но, раз начавшись, он идет все глубже и глубже. Подпольный человек рассказывает о себе, каким он был в молодости, когда служил чиновником, и *он прямо причисляет себя к русским умным романтикам*. Но, как же так, каким образом этот человек, бросивший службу, живущий на крошечную пенсию, чтобы писать свою повесть, похож на умного русского романтика? Говоря о себе в молодости, он создаст образ человека, погруженного в идеальные фантазии, до нелепости оторванные от низкой реальности жизни. Еще он рассказывает о своих приятелях-однокашниках, как еще в школе разошелся с ними, читая такие книги, какие они ни-

когда не прочтут, почерпывая из этих книг идеал справедливости по отношению к угнетенным и униженным, между тем как его однокашники с детства привыкли только рабски почитать успех и сильных мира сего. Только одно объединяет его с умным романтиком: *что он неспособен относиться серьезно ни к себе, ни к своим идеалам.* Эта неспособность лежит на нем, как проклятие, которое усугубляется тем, что он его не заслужил, точнее, заслужил только тем, что он русский и живет в России. Но – еще одна ступень в углублении парадокса: он объективно прав в своем уничтожительном к себе отношении! Мы видим его в сцене в ресторане, в компании тех самых выросших теперь однокашников и видим, что эти люди гораздо симпатичней и человечней, то есть лучше него самого! Да, они рабы, которые поклоняются силе, они неразвиты и проч. и проч., если говорить о них абстрактно со стороны, то есть *говорить с точки зрения чистой мысли*, между тем как, видя и ощущая их *в эмоциональной конкретности литературы*, они симпатичней и человечней, то есть лучше русского идеалиста!

Этот парадокс бесконечен в своей тотальной закольцованности. В частности, он выявляет неразрешимость постановки вопроса, который я предложил вначале: что правильной, стараться ли преследовать истину при помощи чистой мысли, которая не допускает никакой групповщины и отрывает тебя от семейных, национальных и прочих эмоциональных жизненных связей, или пожертвовать абстрактным идеалом

истины во имя реальной жизни.

То есть, согласно терминологии, которую я стану употреблять в дальнейшем: *жить в чистой мысли или жить в литературе?*

Отказавшись (разумеется, фигурально) переехать в Веймар и Шварцвальд, Достоевский отказался от существования в области чистой мысли, несмотря на то, что ему дана была несравненная к ней способность, и предпочел существовать в литературе. Тем самым он отрезал себе путь к разрешению внутреннего конфликта. Теперь в течение изрядного времени он мог записывать с категорической страстью в Записных тетрадах, что человек не может без земли, что связь человека с землей метафизична, чтобы в один прекрасный день внезапно и без оговорок сделать запись: «Христос был против земли», а затем написать, что человек в земле – это червяк.

Разумеется, когда я пишу «отказавшись от того-то и того-то», я не имею в виду, что Достоевский делал какой-то сознательный выбор, он был слишком писатель для этого. Но, в отличие от остальных русских писателей, он читал и высоко ценил философию, сожалея, что «шваховат я в ней». Но и не в этом дело, а в том, какую роль в творческом процессе он отдавал идее, явно ставя ее впереди художественного образа. Европа девятнадцатого века верила, что искусство и философия – это области, в которых в равной степени ее человеком совершается поиск истины. Но Достоевский, мысля

парадоксами, подверг сомнению пригодность для поиска истины литературы и одновременно предпочел остаться с ней, а не с чистой мыслью.

Выйдя из каторги, Достоевский написал три самые свои сильные по мысли произведения: «Записки из мертвого дома», «Записки из подполья» и «Преступление и наказание». Затем – чем дальше каторга удалялась в прошлое, тем больше мысль его слабела. Последний его роман «Братья Карамазовы», художественно самый замечательный, зиждется на идее, что, если бога нет, все позволено, – «идее», просто не имеющей отношения к реальности. Согласно этой личностной и параноидальной идее в современной Европе, основанной на секулярном рационализме, люди давно уже перерезали бы друг друга наподобие того, как это видится во сне Раскольникову, но почему-то люди сегодня режут друг друга как раз в обществах, основанных на «больших идеях» религиозного фундаментализма.

Вот пример того, как менялся Достоевский. В 1860 г. в «Записках из мертвого дома» он пишет о преступниках из народа:

Я сказал уже, что в продолжение нескольких лет я не видал между этими людьми ни малейшего признака раскаяния, ни малейшей тягостной думы о своем преступлении и что большая часть из них внутренне считают себя совершенно правыми. Это факт. Конечно,

тщеславие, дурные примеры, молодчество, ложный стыд во многом тому причиною. С другой стороны, кто может сказать, что выследил глубину этих погибших сердец и прочел в них сокровенное от всего света? Но ведь можно же было, во столько лет, хоть что-нибудь заметить, поймать, уловить в этих сердцах хоть какую-нибудь черту, которая бы свидетельствовала о внутренней тоске, о страдании. Но этого не было, положительно не было.

А через тринадцать лет, в «Дневнике писателя» мы читаем:

Я был в каторге и видал преступников, “решеных” преступников. Повторяю, это была долгая школа. Ни один из них не переставал считать себя преступником... верно говорю, может быть, ни один из них не миновал долгого душевного страдания внутри себя, самого очищающего и укрепляющего... о – поверьте, ни один из них не считал себя правым в душе своей!

Вот два Достоевских. Или один Достоевский в постепенно усиливающемся желании выдать желаемое за действительное, создать то, что я назову «христреализмом», и забыть то, что ему так непреложно и жестко виделось тринадцать лет назад? Может быть, это и имел в виду Толстой, когда сказал, что из Достоевского нельзя творить памятник, потому что он «был весь борьба»?

Глава 1

Поэма о силе и слабости человека

Непосредственно после выхода из каторги Достоевский описывает в письме к брату Михаилу сибирский город, в который выслан на поселение: «Омск гадкий городишка. Деревьев почти нет. Летом зной и ветер с песком, зимой буран. Природы я не видал. Городишка грязный, военный и развратный в высшей степени. Я говорю про черный народ. Если б я не нашел здесь людей, я бы погиб совершенно». А вот как Достоевский описывает во «введении» к «Запискам из мертвого дома» «один из веселых и довольных собой» сибирских городков, в котором он встретил автора записок, ссыльного Александра Петровича Горянчикова: «Климат превосходный; есть много замечательных и хлебосольных купцов; много чрезвычайно достаточных инородцев. Барышни цветут розами и нравственны до последней крайности. Дичь летает по улицам и сама натывается на охотника. Шампанского выпивается неестественно много. Икра удивительная. Урожай бывает в иных местах сам-пятнадцать... Вообще земля благословенная». Что беспокоит самое существо писателя, почему он так раздваивается в описании явно одного и того же города? Второе описание города было бы художественно оправданно, если бы все введение к книге бы-

ло написано под саркастическим углом а-ля Салтыков-Щедрин, между тем оно написано вполне нейтрально, как некая довольно избитая обязательность преподнести книгу от третьего, вымышленного лица.

Но говоря об этом вымышленном авторе записок Александре Петровиче Горянчикове – тут тоже есть странность и художественный диссонанс: слишком уж много и подробно Достоевский о нем говорит. Вот он встречается Горянчикова в первый раз и замечает «если вы с ним заговаривали, то он смотрел на вас чрезвычайно пристально и внимательно, со строгой вежливостью выслушивал каждое слово ваше, как будто в него вдумываясь, как будто вы вопросом вашим задали ему задачу или хотите выпытать у него какую-нибудь тайну, и, наконец, отвечал ясно и коротко, но до того взвешивая каждое слово своего ответа, что вам вдруг становилось отчего-то неловко и вы, наконец, сами радовались окончанию разговора». Затем идет описание того, как Горянчиков был принят в городе, как о нем говорят, что он живет «безукоризненно и нравственно», но «что он страшный нелюдим, от всех прячется» и затем еще как «иные утверждали, что он положительно сумасшедший». Тут автор введения продолжает: «Я сначала не обращал на него особенного внимания, но, сам не знаю почему, он мало-помалу стал интересоваться меня. В нем было что-то загадочное... Помню, я шел с ним однажды в один прекрасный летний вечер от Ивана Ивановича. Вдруг мне вздумалось пригласить его на минутку к себе

выкурить папироску. Не могу описать, какой ужас выразился на лице его; он совсем потерялся, начал бормотать какие-то бессвязные слова и вдруг, злобно взглянув на меня, бросился бежать в противоположную сторону». Казалось бы, следовало оставить бедного г-на Горянчикова в покое, но автор введения не унимается и прямо так и говорит:

Но я не унялся... и месяц спустя зашел к Горянчикову... Увидя меня, он до того смешался, как будто я поймал его на каком-то преступлении. Он растерялся совершенно, вскочил со стула и глядел на меня во все глаза... он пристально следил за каждым моим взглядом, как будто в каждом из них подозревал какой-нибудь особенный таинственный смысл. Я догадался, что он был мнителен до сумасшествия. Он с ненавистью глядел на меня, чуть ли не спрашивая: «Да скоро ли ты уйдешь отсюда?».

Записывая последнюю цитату, я вспоминаю выдержку из записи графа Сологуба о посещении им автора нашумевшего романа «Бедные люди»:

Я нашел в маленькой квартире на одной из отдаленных петербургских улиц, кажется, на Песках, молодого человека, бледного и болезненного на вид. На нем был одет довольно поношенный домашний сюртук с необыкновенно короткими, точно не на него сшитыми рукавами... Он сконфузился, смешался и подал мне единственное находящееся в комнате старенькое старомодное кресло. Я тотчас увидел, что

это – натура застенчивая, сдержанная и самолюбивая, но в высшей степени талантливая и симпатичная. Просидев у него минут двадцать, я поднялся и пригласил его поехать ко мне запросто пообедать. Достоевский просто испугался. «Нет, граф, простите меня, – промолвил он растерянно, потирая одну об другую свои руки, – но, право, я в большом свете отроду не бывал и не могу никак решиться...» Только месяца два спустя он решился однажды появиться в моем зверинце.

В введении к «Мертвому дому», судя по всему, в образе Горянчикова Достоевский набрасывает иронический автопортрет. Зачем он это делает? Действительно ли из «частного» (его словечко) удовольствия поиздеваться над самим собой? Или с какой-то более глубокой целью? Образ Горянчикова как будто бы дан без всякой смысловой (идейной) нагрузки, в чисто художественной форме, но, может быть, Достоевский исподтишка хочет сказать, что «Записки» не случайно написаны не совсем нормальным человеком, то есть, что в них зашифровано больше, чем может схватить глаз, то есть каким-то образом, в чем-то самом существенном они тоже «не совсем нормальны»?

По выходе из каторги Достоевский описывает в письме к брату Михаилу лагерную жизнь:

С каторжным народом я познакомился еще в Тобольске и здесь в Омске расположился прожить с ними четыре года. Это народ грубый, раздраженный

и озлобленный. Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы, и потому нас, дворян, они встретили враждебно и со злобной радостью о нашем горе. Они бы нас съели, если б им дали. Впрочем, посудите, велика ли была защита, когда приходилось жить, пить-есть и спать с этими людьми несколько лет и когда даже некогда жаловаться, за бесчисленностью всевозможных оскорблений. «Вы дворяне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был, народ мучал, а теперь хуже последнего, наш брат стал» – вот тема, которая разыгрывалась 4 года. 150 врагов не могли устать в преследовании, это было им любо, развлечение, занятие, и если только чем спасались от горя, так это равнодушием, нравственным превосходством, которого они не могли не понимать и уважали, и неподклонимостью их воле. Они всегда сознавали, что мы выше них.

Кем написаны эти слова: автором «Записок» или одним из заключенных по политическим делам русским (петрашевцем) или поляком – людьми, которые относятся к каторжному люду, как к общей враждебной массе? «Поляки были с ними как-то утонченно, обидно вежливы, крайне несообщительны и никак не могли скрыть перед арестантами своего к ним отвращения, а те понимали это очень хорошо и платили той же монетой». У Достоевского в письме «равнодушие» и «нравственное превосходство», у поляков в книге «отвращение», но, право же, это вопрос не слов, а оттен-

ка слов. Автор этих слов мог бы написать книгу воспоминаний о каторге и даже, может быть, кто знает, еще более впечатляющую книгу, но только он никогда не смог бы написать «Записки из Мертвого дома». Действительно, в «Записках» постоянно говорится о непроходимой ненависти народа к дворянам, и приводится то же выражение «железные носы» и даются этой ненависти те же объяснения, но на этом сходство заканчивается: Достоевский, автор письма к брату, и Достоевский в роли рассказчика «Записок» Горянчикова это совершенно разные люди, *это два Достоевских, находящихся по разные стороны нравственной синусоиды*. Один «спасается от горя», уходя в равнодушие к каторжникам и чувство нравственного превосходства, а другой только и мечтает быть принятым каторжниками за своего, найти среди них людей, чье нравственное чувство превосходит нравственность образованного класса людей. Автор письма к брату хвастает «неподклонимостью их воле», то есть, воле каторжников из простого народа, Горянчиков же по ходу всей книги одержим желанием разгадать и принять и сделать своей иерархию волевых качеств, почитаемых каторжанами.

Достоевский, автор письма к брату *уверен в существовании универсальной иерархии духовных ценностей*, образцовыми представителями которой являются «образованные люди». Эти образованные люди знают о своем нравственном превосходстве над черным народом, которому из-за его необразованности эти ценности недоступны, и они увере-

ны, что черный народ признает их «нравственное превосходство» в этой области, потому что иерархия ценностей христианского общества универсальна. «Образованный, с развитой совестью человек» постоянно в течение всей жизни присутствует в записках и письмах (а также в «Дневнике писателя») Достоевского, и под словом «образованный» не имеется в виду какое-то специфическое профессиональное образование, но некое общекультурное сознание человека христианской цивилизации. Такое образование получают люди высших классов общества России, и это секулярное образование, которое, разумеется, базируется на этико-моральных христианских принципах. Такое образование российского человека имеет только одни корни – европейские, – даже если преломленные через российскую жизнь, потому что секулярная культура послепетровской России целиком основана на секулярной европейской культуре. Сколько бы потом Достоевский, став почвеником, ни сетовал на такое положение вещей, сколько бы ни тосковал по утраченным мифическим начаткам национальной культуры (мифическим, потому что он никогда не мог даже в двух словах сформулировать их конкретность и прямо говорил, что это у него мистическое чувство) – он никогда не отказывался от того, что его образование это европейское образование. В углу его комнаты мог помещаться киот, но на стене висела литографическая копия Сикстинской мадонны Рафаэля. И в «Дневнике писателя» за 76 год он записывал, что, когда

придет желанный момент единения с народом, то народ и образованные классы должны будут встретиться на полпути и народ тоже должен будет признать то, что принесут с собой образованные люди, иначе лучше им и не встречаться.

Но вымышленный автор «Записок из мертвого дома» рассказывает нам о каторге совершенно другие вещи, в том числе и то, что иерархия духовных ценностей у простого каторжного народа радикально не та, что у образованных людей – и при этом он вовсе не думает о встрече с ними на полпути.

Уже в самом начале книги он записывает любопытную фразу: «Я сам вдруг сделался таким же простонародьем, таким же каторжным, как и они. Их привычки, понятия, мнения, обыкновения стали как будто тоже моими, по крайней мере по форме, по закону, хотя я и не разделял их в сущности». В этой фразе еще как будто нет внутреннего противоречия, коль скоро рассказчик признает, что не разделяет в сущности «их» понятий и мнений, то есть, духовной иерархии каторги, а тем не менее противоречие все-таки зарождается: одно дело разделить привычки и обыкновения (быт) и другое – понятия и мнения (духовные ценности) – как можно разделять их пусть даже по форме, если ты с ними не согласен?

С самого первого дня рассказчик вглядывается в лица каторжников: «Я чувствовал и понимал, что вся эта среда для меня совершенно новая, что я в совершенных потемках, а что в потемках нельзя прожить столько лет... Все это моя

среда, мой теперешний мир, – думал я, – с которым, хочу не хочу, а должен жить...». На каторге жизнь ставит Достоевского, как героя классической трагедии, в экстремальную ситуацию. Она не просто опускает его на самый-самый свой Низ, не просто он находит себя окруженным обитателями этого Низа, настроенными к нему заведомо враждебно, но еще он *находит себя окруженным членами настолько иного общества*, что ему кажется, будто он попал в другую страну. «За этими воротами был светлый вольный мир, жили люди, как все. Но по сю сторону ограды о том мире представляли себе, как о какой-то несбыточной сказке. Тут был свой особый мир, ни на что не похожий, тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи, и заживо Мертвый дом – жизнь, как нигде, *и люди особенные*» (курсив мой. – Л. С.) «Никто здесь никого не мог удивить. “Мы – народ грамотный” – говорили они часто с каким-то странным самодовольством». И еще: «С первого взгляда можно было заметить некоторую резкую общность во всем этом странном семействе; даже самые резкие, самые оригинальные личности, царившие над другими невольно, и те старались попасть в общий тон всего острога». И еще: «Оглядываясь кругом, новичок скоро замечал, что он не туда попал, что здесь дивить уже некого, и неприметно смирялся, и попадал в общий тон. Этот общий тон составлялся снаружи из какого-то особенного собственного достоинства, которым был проникнут чуть ли не каждый обитатель острога». И еще: «А бывают

и такие, которые нарочно делают преступления, чтобы только попасть в каторгу и тем избавиться от несравненно более каторжной жизни на воле. Там он жил в последней степени унижения, никогда не наедался досыта и работал на своего антрепренера с утра до ночи; а в каторге работа легче, чем дома, хлеба вдоволь, и такого, какого он еще не видывал; по праздникам говядина, есть подавание, есть возможность заработать копейку. А общество? Народ продувной, ловкий, всезнающий; и вот он смотрит на своих товарищей с почтительным изумлением; он никогда еще не видал таких; он считает *их самым высшим обществом, которое только может быть на свете*» (курсив мой. – А. С.).

Общество тут чрезвычайно важное, даже ключевое слово. Опять же, это слово (society) чрезвычайно важно, скажем, в «Крошке Доррит», в которой Диккенс рисует в сравнении и в переплетении два общества – высшее и тюремное. Идея Диккенса велика (как велик этот, может быть, самый лучший его роман), но Диккенс смотрит на оба общества со стороны, у Достоевского же совсем не то. Ему ни разу не приходит в голову провести художественно сообразительное сравнение между обществом, в котором он обитал раньше и обществом, в которое он попал сейчас: то общество превратилось в «несбыточную сказку». Рассказчик не желает или не способен подняться над людьми, в обществе которых оказался, это общество занимает весь его горизонт, никаких других миров, других обществ более не существует, исчезают *все пер-*

спективы, а перспективы – это ведь порой такая освобождающая вещь. Но художественный метод Достоевского совершенно иной, взгляд со стороны ему недоступен. Там, за воротами каторжного поселения, Достоевский жил в «светлом вольном мире» и, живя в этом мире, писал о мечтателях, слабых сердцах, о раздвоенных неврастениках – о *слабых людях* того мира. Люди же Силы, люди высшего общества, полумифические юлианы мастаковичи были для него по его социально-экономическому статусу недостижимы. В том мире деньги, разумеется, играли роль, но у мечтателей и слабых сердец к ним не было доступа. И у Достоевского к ним не было доступа, с юношеских лет он привык выпрашивать и вымаливать деньги, у кого только мог, и почти всю жизнь прожил в долгах. Но четыре года каторги оказались в этом смысле совсем другими, *только в эти годы за всю его жизнь сила денег была в его руках*. «Деньги есть чеканенная свобода, и потому для человека, лишённого совершенно свободы, они дороже вдесятеро. Если они только брякают у него в кармане, он уже наполовину утешен...». Рассказчик говорит о первых днях в остроге: «Уже вчера с вечера я заметил, что на меня смотрят косо. Я уже поймал на себе несколько мрачных взглядов. Напротив, другие арестанты ходили около меня, подозревая, что я принес с собой деньги. Они тотчас стали подслуживаться: начали учить меня, как носить новые кандалы; достали мне, конечно за деньги, сундучок с замком, чтобы спрятать в него уже выданные мне казенные вещи и

несколько моего белья, которое я принес в острог».

Деньги есть чеканенная свобода, говорит Достоевский, и его герой входит в новое (каторжное) общество на совсем других основаниях по сравнению с тем, какое положение он занимал в обществе на воле: у него тут есть деньги и, следовательно, есть возможность облегчить каторжное существование, есть возможность обладать силой. По логике вещей тот Достоевский, который знает о своем нравственном превосходстве, должен приветствовать такое положение вещей, но Достоевский-Горянчиков чувствует иное. О, он не против денег и облегчения, которые они приносят, но сила, которую они дают, в данных условиях двусмысленна: «Действительно, мне всегда хотелось все делать самому, и даже я особенно желал, чтобы и виду не подавать о себе, что я белоручка, неженка, барствую. В этом отчасти состояло даже мое самолюбие, если уж к слову сказать пришлось. Но вот, – решительно не понимаю, как это всегда так случалось, – но я никогда не мог отказаться от разных услужников и прислужников, которые сами ко мне навязывались и под конец овладевали мной совершенно, так что они по-настоящему были моими господами, а я их слугой; а по наружности и выходило как-то само собой, что я действительно барин, не могу обойтись без прислуги и барствую». Дело не в деньгах и их силе, а в том, что поважней: хорошо иметь деньги и *одновременно быть членом общества большинства*, вот тогда и деньги обретут полный вес.

Но каково же это общество большинства, в которое попадает Достоевский, в чем его особенность? Общество это организовано совершенно иначе, чем было организовано ставшее далеким, как сказка, общество на воле. У этого общества нет установленной государством и историей социальной иерархии; тут все в своем социальном статусе уравнины, то есть каторга парадоксальным образом похожа на эгалитарное общество всеобщего братства людей на земле, о котором Достоевский сентиментально мечтал с юности и до конца жизни (только в юности это было разумное атеистическое общество согласно теориям Белинского, а в поздней жизни это была Россия, спасающая Европу под эгидой эгалитарного христианства). На каторге все как бы начинают сначала, с чистого белого листа, и межчеловеческая иерархия здесь устанавливается не на каких-то прошлых заслугах или прошлых приобретениях, наследствах и т. д., но только на силе или слабости характера данного человека. Так мы, наконец, приходим к словам: человеческие Сила или Слабость, Сила или Слабость человеческой воли. Так мы приходим к теме, которая пронизывает всю книгу – под углом которой пишется книга «Записки из мертвого дома».

Тут я делаю поворот и, прежде чем начать говорить об обществе людей каторги, обращаюсь к обществу животных, которому посвящена небольшая главка «Каторжные животные». Причем я берусь говорить *в той же последовательности*, в какой конструирует эту главу сам автор.

Рассказчик начинает с собачки Белки:

Белка была странное создание. Ее кто-то переехал телегой, и спина ее была вогнута внутрь, так что она, когда, бывало, бежит, то казалось издали, что бегут двое каких-то белых животных, сращенным между собою. Кроме того она была какая-то паршивая, с гноящимися глазами; хвост был облезший, почти весь без шерсти, и постоянно поджатый... Оскорбленная судьбой, она, видимо, решила смириться. Никогда-то она не лаяла и не ворчала, точно не смела. Жила она больше из хлеба, за казармами; если же увидит, бывало, кого-нибудь из наших, то тотчас же еще за несколько шагов, в знак смирения, перекувырнется на спину: «делай, дескать, со мной что тебе угодно, а я, видишь, и не думаю сопротивляться». И каждый арестант, перед которым она перекувырнется, пырнет ее, бывало, сапогом, точно считая непременно своей обязанностью. «Вишь, подлая!» – говорят, бывало, арестанты. Но Белка даже и визжать не смела, и если уж слишком пронимало ее от боли, то как-то заглушенно и жалобно выла.

Но не только в мире людей, но и в собачьем обществе Белке приходится несладко:

Бывало перекувырнется и лежит смиренно, когда какой-нибудь большой вислоухий пес бросится на нее с рыком и лаем. Но собаки любят смирение в себе подобных. Свиристый пес немедленно укрощался, с некоторою задумчивостью останавливался над лежащей

перед ним вверх ногами покорной собакой и медленно и с большим любопытством начинал обнюхивать ее во всех частях тела... обнюхав внимательно, пес бросал ее, не находя в ней ничего особенно любопытного. Белка тотчас же вскакивала и опять, бывало, пускалась, ковыляя, за длинной вереницей собак, провожавших какую-нибудь Жучку. И хоть она наверно знала, что с Жучкой ей никогда коротко не познакомиться, а все-таки хоть издали поковылять – и то было для нее утешением в ее несчастьях. Об чести она уже, видимо, перестала думать. Потеряв всякую карьеру в будущем, она жила ради одного только хлеба и вполне понимала это... Кончилось тем, что ее за острогом разорвали собаки.

Белка – пария, что находится на самой низкой ступени общественной иерархии сила-слабость, и она гибнет особенно безнадежно и унижительно – от зубов своих собратьев.

Следующий, чуть повыше этап – это Культяпка, которого рассказчик еще слепым щенком, «сам не зная почему», приносит из мастерской в острог. Шарик, взрослый пес, живущий в остроге, «тотчас же принял Культяпку под свое покровительство и спал с ним вместе». Культяпка – это прямая противоположность Белке: «характера он был пылкого и восторженного, как всякий щенок, который от радости, что видит хозяина, обычно навизжит, накричит, полезет лизать в самое лицо и тут же перед вами готов не удержать и всех остальных чувств своих: “Был бы только виден восторг,

а приличия ничего не значат!»». У Культяпки есть надежда: «казалось, судьба готовила ему в жизни довольство и одни только радости». Действительно, в другой ситуации, верней в *другой художественной конструкции*, Культяпка вполне мог бы выжить – только не в конструкции «Записок из мертвого дома», и вот: «...в один прекрасный день арестант Неустроев, занимавшийся шитьем женских башмаков и выделкой кож, обратил на него особенное внимание. Его вдруг что-то поразило. Он подозвал Культяпку к себе, пощупал его шерсть и ласково повалил его спиной по земле. Культяпка, ничего не подозревающий, визжал от удовольствия. Но на другое же утро он исчез». Культяпка был щенок рассказчика, и рассказчик «ужасно полюбил этого уродца», но в продолжении рассказа рот рассказчика растянут в довольно «негуманной», как говаривал Достоевский, ухмылке, похожей на ту, которая должна была быть на лице Гоголя, когда он рассказывал Пушкину про кота на крыше горящего дома, какие тот выделял уморительные прыжки.

Кроме собак, в каторге еще были гуси, которые «завелись как-то тоже случайно» и которые «некоторое время очень тешили арестантов и даже стали известны в городе». Рассказчик с юмором рисует картину, как стая выросших гусей повадилась ходить с арестантами на работу, как они, распутив крылья, с криком бежали за арестантами, как непременно отправлялись на правый фланг, выстраиваясь там и ожидая разводки. Как присоединялись обязательно к самой большой

партии и паслись «где-нибудь неподалеку». Однако, конец гусей короток и подан с тем же ироническим лукавством: «Но несмотря на всю их преданность, к какому-то разговенью их всех перерезали».

После гусей следует козел Васька, который попал в острог «белым, прехорошеньким козленком» и которого «в несколько дней все... у нас полюбили, и он сделался общим развлечением и даже отрадою». Васька забирается по иерархической лестнице животного мира в каторге необычайно высоко, он единственное животное здесь, отношение к которому напоминает отношение к домашним существам, которых заводят на воле «нравственно развитые» люди: «Это было преграциозное и прешаловливое создание. Он бежал на кличку, вскакивал на скамейки, на столы, бодался с арестантами, был всегда весел и забавен». Васькина свобода в мире арестантов до того сильна, что он участвует в играх с людьми на равных и даже берет верх: «однажды вечером лезгин Бабай вздумал с ним бодаться. Они уже долго стукались лбами – это была любимая забава арестантов с козлом, – как вдруг Васька вспрыгнул на самую верхнюю ступеньку крыльца и, только что Бабай отворотился в сторону, мигом поднялся на дыбки, прижал к себе передние копытцы и со всего размаха ударил Бабая в затылок, так что тот слетел кувырком с крыльца к восторгу всех присутствующих и первого Бабая». Когда Васька подрос, его кастрировали, чтобы он не пах козлом – еще одна примета, насколько Васька был принят ка-

торжным людям не на роли домашней скотины, но скорей чего-то вроде сакрального животного:

Иногда, если работали, например, на берегу, арестанты нарвут, бывало, гибких талиновых веток, достанут еще каких-нибудь листьев, наберут на берегу цветов и уберут всем этим Ваську; рога оплетут ветвями и цветами, по всему туловищу пустят гирлянды. Возвращается, бывало, Васька в острог всегда впереди арестантов, разубранный и разукрашенный, а они идут за ним, точно гордятся перед прохожими. До того дошло это любование козлом, что иным из них приходила даже в голову, словно детям, мысль: «Не вызолотить ли рога Ваське!»... И долго бы прожил Васька в остроге и умер бы разве от одышки, но однажды возвращаясь во главе арестантов с работы, разубранный и разукрашенный, он попался навстречу майору, ехавшему в дрожках.

Тут и кончилась васькина, говоря словом Достоевского, карьера. Его велено было зарезать, а мясо отдать арестантам. И рассказчик заключает, все с той же ухмылкой: «Мясо оказалось действительно очень вкусным».

После козла является нам последнее животное каторги – орел.

Проживал у нас некоторое время в остроге орел... Кто-то принес его в острог раненого и измученного... Помню, как он яростно оглядывался кругом, осматривая любопытную толпу, и разевал свой

горбатый клюв, готовясь дорого продать свою жизнь.

Орел, дикая птица, входит с арестантами в совсем другие отношения. «Когда на него насмотрелись и стали расходиться, он отковылял, хромя и прискакивая на одной ноге и помахивая здоровым крылом, в самый дальний угол острога, где забился в углу, плотно прижавшись к палям. Тут он прожил у нас месяца три и во все время ни разу не вышел из своего угла... Сначала приходили часто глядеть на него, на травливали на него собаку... Орел защищался изо всех сил когтями и клювом и гордо и дико, как раненый король, забившись в свой угол, оглядывал любопытных... Наконец, он всем наскучил; его все бросили и забыли, и, однако ж, каждый день можно было видеть возле него клочки свежего мяса и черепок с водой. Кто-нибудь да наблюдал же его. Он сначала и есть не хотел, не ел несколько дней, наконец стал принимать пищу, но никогда из рук или при людях».

Рассказчик описывает все достаточно точно: известно, что приручить орла, даже если он взят птенцом, трудней, чем любое другое дикое животное или дикую птицу. Люди, которые охотятся с орлами, берут птенца и морят его голодом почти до смерти, пока он не начинает кормиться из рук.

Вот какие действия *предпринимает* рассказчик по отношению к орлу: «Мне случалось не раз издали наблюдать его... Никакими ласками я не мог смягчить его, он кусался и бился, говядины от меня не брал и все время, как я над ним стою, пристально-пристально смотрит мне в глаза сво-

им злым, пронзительным взглядом».

Вот что *говорит* об орле рассказчик: что он похож на раненого короля; что он «одинок и злобно ожидал смерти, не доверяя никому и не примиряясь ни с кем».

Вот какие действия *предпринимают* по отношению к орлу каторжники: 1. приносят его в острог; 2. любопытствуют и забавляются, натравливая на него собаку; 3. теряют к нему видимый интерес, однако же, исподтишка кормят его и дают ему воду; 4. интерес арестантов внезапно возобновляется, и они решают вынести орла из острога, чтобы он пусть и умер, но на воле.

Вот что *говорят* арестанты об орле:

Зверь! – говорили они. – Не дается!.. Знать он не так, как мы... Ему, знать, черта и в чемодане не строй. Ему волю подавай, заправскую волю-волюшку... И не оглянется!.. Ни разу, братцы, не оглянулся, бежит себе!.. Знамо дело, воля. Волю почуял... Слобода, значит.

Итак, резюме. Достоевский дает нам картину иерархического животного мира на каторге, начиная с самой жалкой и униженной Белки и закачивая самым гордым и свободолюбивым орлом. Кажется, что он обращается ко всем животным и говорит: не доверяйте человеку, никто из вас. Как бы человек ни ласкал и ни голубил вас, будьте начеку, рано или поздно он вас все равно предаст. Будьте настороже, а самое лучшее, будьте, как тот вольный орел, который, хоть и умер

в молодости, но по своей воле.

Какой из двух Достоевских говорит так: человек образованный с развитой совестью, который писал свои докаторжные гуманистические вещи, или тот, кто пройдя каторгу, каким-то коренным образом изменился? Принято говорить об идеологическом изменении, произошедшем в мировоззрении Достоевского в результате каторги. Но сам же писатель говорил, что это изменение происходило в нем постепенно и довольно долго. Арест, суд, приговор, ожидание неминуемой казни, последующий этап в Сибирь и каторга по свидетельству самого Достоевского не сломили его идейных убеждений. Но каторга каким-то образом подействовала на все его существо, изменила его *вне всякой идеологии* как писателя, и «Записки из мертвого дома» совместно с «Дядюшкиным сном» и «Селом Степанчи-ковым» – первые три произведения написанные непосредственно после каторги – суть реальные свидетельства этого изменения. Вторые два – это вещи юмористические и иронические, сентимент в них и не ночевал, равно как и мечтатели и бедные люди, а «Записки из мертвого дома» – это произведение, в котором исследуется общество людей, построенное на идее Силы. Идея же Силы (равно как и Слабости) стала центральной в двух его следующих, самых радикальных и значительных произведениях – «Записках из подполья» и «Преступлении и наказании».

Перейдем к обществу людей. В отличие от описания жи-

вотных рассказчик не выстраивает по ходу книги строгую конструкцию, да это было бы невысказано: разнообразие человеческих натур посложней характеров животных. Но так как моя задача несравненно уже, я позволю себе начать с людей слабых и затем постепенно буду двигаться по направлению к сильным.

В одной из первых глав дается такое описание:

В нашей комнате, так же как и во всех других казармах острога, всегда бывали нищие, байгуши, проигравшиеся или пропившиеся или так просто от природы нищие. Я говорю «от природы» и особенно напеваю на это выражение. Действительно, при какой бы то ни было обстановке, при каких бы то ни было условиях, всегда есть и будут существовать некоторые странные личности, смиренные и нередко очень неленивые, но которым уж так судьбой предназначено на веки вечные оставаться нищими... Они всегда бобыли, они всегда неряхи, они всегда смотрят какими-то забитыми, какими-то удрученными и вечно состоят у кого-нибудь на помывке, у кого-нибудь на посылках... Всякий почин, всякая инициатива – для них горе и тягость. Они как будто и родились с тем условием, чтобы ничего не начинать самим и только прислуживать, *жить не своей волей, плясать по чужой дудке* (курсив мой. – А. С.); их назначение – исполнять одно чужое. В довершение всего никакие обстоятельства, никакие перевороты не могут их обогатить. *Они всегда нищие.*

Затем рассказчик переходит к конкретным персонажам, как бы для иллюстрации своих рассуждений:

Вот, например, тут был один человек, которого только через много-много лет я узнал вполне, а между тем он был со мной и постоянно около меня почти во все время каторги... Я не призывал его и не искал его. Он как-то сам нашел меня и прикомандировался ко мне; даже не помню, как и когда это случилось. Он стал на меня стирать... Кроме того, Сушилов сам изобретал тысячи различных обязанностей, чтоб мне угодить: наставлял мой чайник, бегал по разным поручениям, отыскивал что-нибудь для меня, носил мою куртку в починку, смазывал мне сапоги раза четыре в месяц; все это делал усердно, суетливо, как будто бог знает какие на нем лежали обязанности, – одним словом, совершенно связал свою судьбу с моею и взял все мои дела на себя... Он так и смотрел мне в глаза и, кажется, принял это за главное назначение всей своей жизни... Ремесла, или, как говорят арестанты, рукомерла, у него не было никакого, и, кажется, только от меня он и добывал копейку... Он не мог не служить кому-нибудь и, казалось, выбрал меня потому, что я был обходительней других и честнее на расплату... *Характеристика этих людей – уничтожать свою личность всегда, везде и чуть ли не перед всеми, а в общих делах разыгрывать даже не второстепенную, а третьестепенную роль. Все это у них уж так по природе* (курсив мой. – А. С.).

Затем следует еще любопытное замечание: «...он, как мне кажется, принадлежал к тому же товариществу, что и Сироткин (то есть, к товариществу гомосексуалистов. – А. С.) и принадлежал единственно по своей забитости и безответности». Тут, кажется, автор опускает Сушилова на ступеньку еще ниже, чем собачку Белку, которая всего только недостижимо мечтала о компании Жучки. Это замеченная вещь, что в стаях бездомных собак бывает порой один кобель настолько безответный и ласковый, что все другие кобели постоянно взбираются на него и имитируют половой акт. Примерно это же имеет в виду рассказчик, когда замечает, что Сушилов принадлежал к гомосексуалистам не по характеру своей натуры, своего «я», а «единственно по своей забитости и безответности».

Но и это еще не все про Сушилова. На самом деле Сушилову вообще нет места в каторге, он как бы недостойн здесь находиться. Его вели по конвою, как бродягу, и тут он «сменился» личностями за мзду с настоящим преступником. Арестанты презирают и смеются над ним не за это (такие «смены» были известны), но за то, как ничтожно мало он взял, продав себя: всего лишь красную рубашку и рубль серебром.

Да, автор «Мертвого дома» это не автор «Бедных людей». Однако, пойдем дальше, следуя классификации каторжного люда с точки зрения слабости и силы их характеров и поднимемся на ступеньку выше. «В остроге всегда бывает мно-

го народу промотавшегося, проигравшегося, прогулявшего все до копейки, народу без ремесла, жалкого и оборванного, но одаренного до известной степени смелостью и решительностью. У таких людей остается в виде капитала в целости только спина; она может послужить к чему-нибудь, и вот этот-то последний капитал промотавшийся гуляка и решается пустить в оборот. Он идет к антрепренеру и нанимается к нему для проноски в острог вина». Рассказчик подробно описывает, с какими ухищрениями проносят в острог вино в промытых «бычачьих кишках» и как в случае поимки во время шмона контрабандист расплачивается спиной, ложась под палки, но не выдавая антрепренера. Подобного рода «промотавшийся народ» обладает, в отличие от людей типа Сушилова, некоторой свободой воли. Пусть эта воля не живет в нем постоянно, а только вспыхивает в крайнем случае, тем не менее, она делает его способным в такие моменты к активному действию. Когда контрабандист проносит вино, он рискует, его ум активно работает, он испытывает напряжение чувств, даже экзальтацию – в это время он человек. Но все это от случая к случаю и в зависимости от внешних обстоятельств – внешние обстоятельства повелевают его волей, побуждая ее к действию, а не его воля подчиняет себе внешние обстоятельства.

О трагедии отсутствия воли и трагедии стихийного своеволия повествует в книге отдельная глава под названием

«Акулькин муж». Именно так, акулькин муж, хотя рассказчик говорит нам, что фамилия этого мужа была Шишков, что был он «пустой и взбалмошный человек» и что арестанты «как-то с пренебрежением с ним обходились». Но название главы совершенно точно, она сама по себе художественное произведение и могла бы быть названа: «как акулькиного мужа приворожили» или «как акулькин муж волю потерял», что-нибудь в таком роде. Дело происходит в каторжном госпитале, ночью, и рассказчик слышит, как по соседству с ним тихо разговаривают два арестанта, один из них, тот самый Шишков, излагает историю своей жизни. История строится как трагедия, в которой акулькиному мужу, человеку без воли, противостоит малый по имени Филька Морозов, воплощающий собой своеволие. Точней, воля обоих мужчин подчинена какой-то роковой стихии, оба несвободны в том смысле, что обоим судьба предназначила роли, и оба влекомы к трагической развязке, в центре которой фигура жертвы, молодой женщины Акульки. Оговаривает ли Филька Морозов Акульку или вправду с ней спал? Зло ли затаил против нее или его лишает разума (способности действовать разумно) неразделенная любовь? Никто не может ничего сказать, и уж тем более акулькин муж, который настолько «сам себя не знает», то есть ни в чем не верит себе, что даже убедившись в брачную ночь, что Акулька невинна, тут же меняет мнение только потому, что:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.